



## Михаил Александрович ШОЛОХОВ

1905—1984

М. А. Шолохов ушёл на войну в 1941-м, будучи очень известным писателем, автором «Донских рассказов», «Тихого Дона», «Поднятой целины». Он прошёл её в качестве военного корреспондента, был ранен сам, потерял мать (она погибла во время обстрела родной станицы писателя — Вёшенской). Шолохов четыре военных года писал репортажи для центральных газет, публицистические очерки; начал работу над романом «Они сражались за Родину» (он остался неоконченным).



Сюжет рассказа «Судьба человека» основан на реальных событиях: весной 1946 года на охоте Шолохов встретил человека, который поведал ему историю своей жизни. Писателя захватил этот сюжет, и он принял решение: «Напишу рассказ об этом, обязательно напишу». Через 10 лет Шолохов за семь дней написал рассказ «Судьба человека».

### СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

*Евгении Григорьевне Левицкой,  
члену КПСС<sup>1</sup> с 1903 года*

Первая послевоенная весна была на Верхнем Дону на редкость дружная и напористая. В конце марта из Приазовья подули тёплые ветры, и уже через двое суток начисто оголились пески левобережья Дона, в степи вспухли набитые снегом лога<sup>2</sup> и балки, взломав лёд, бешено разыграли степные речки, и дороги стали почти совсем непроездны.

<sup>1</sup> *КПСС* — Коммунистическая партия Советского Союза, единственная правящая политическая партия в Союзе Советских Социалистических Республик в 1918—1991 годах.

<sup>2</sup> *Лог* — широкий и длинный овраг.

В эту недобрую пору бездорожья мне пришлось ехать в станицу Букановскую. И расстояние небольшое — всего лишь около шестидесяти километров, — но одолеть их оказалось не так-то просто. Мы с товарищем выехали до восхода солнца. Пара сытых лошадей, в струну натягивая постромки<sup>1</sup>, еле тащила тяжёлую бричку. Колёса по самую ступицу проваливались в отсыревший, перемешанный со снегом и льдом песок, и через час на лошадиных боках и стёгнах<sup>2</sup>, под тонкими ремнями шлеек, уже показались белые пышные хлопья мыла, а в утреннем свежем воздухе остро и пьяняще запахло лошадиным потом и согретым деготьком щедро смазанной конской сбруи.

Там, где было особенно трудно лошадям, мы слезали с брички, шли пешком. Под сапогами хлюпал размокший снег, идти было тяжело, но по обочинам дороги всё ещё держался хрустально поблёскивавший на солнце ледок, и там пробираться было ещё труднее. Только часов через шесть покрыли расстояние в тридцать километров, подъехали к переправе через речку Еланку.

Небольшая, местами пересыхающая летом речушка против хутора Моховского в заболоченной, поросшей ольхами пойме разлилась на целый километр. Переправляться надо было на утлой плоскодонке, поднимавшей не больше трёх человек. Мы отпустили лошадей. На той стороне в колхозном сарае нас ожидал старенький, выдавший виды «виллис»<sup>3</sup>, оставленный там ещё зимою. Вдвоём с шофёром мы не без опасения сели в ветхую лодчонку. Товарищ с вещами остался на берегу. Едва отчалили, как из прогнившего днища в разных местах фонтанчиками забила вода. Подручными средствами конопатили ненадёжную посудину и вычерпывали из неё воду, пока не доехали. Через час мы были на той стороне Еланки. Шофёр пригнал из хутора машину, подошёл к лодке и сказал, берясь за весло:

— Если это проклятое корыто не развалится на воде, — часа через два приедем, раньше не ждите.

Хутор раскинулся далеко в стороне, и возле причала стояла такая тишина, какая бывает в безлюдных местах только глухою осенью и в самом начале весны. От воды тянуло сыростью, терпкой горечью гниющей ольхи, а с дальних прихопёрских степей, тонувших

---

<sup>1</sup> *Пострómка* — часть конской упряжи.

<sup>2</sup> *Стегно́* — бедро.

<sup>3</sup> *Віллис* — армейский автомобиль повышенной проходимости.

в сиреновой дымке тумана, лёгкий ветерок нёс извечно юный, еле уловимый аромат недавно освободившейся из-под снега земли.

Неподалёку, на прибрежном песке, лежал поваленный плетень. Я присел на него, хотел закурить, но, сунув руку в правый карман ватной стёганки<sup>1</sup>, к великому огорчению, обнаружил, что пачка «Беломора» совершенно размокла. Во время переправы волна хлестнула через борт низко сидевшей лодки, по пояс окатила меня мутной водой. Тогда мне некогда было думать о папиросах, надо было, бросив весло, побыстрее вычерпывать воду, чтобы лодка не затонула, а теперь, горько досадуя на свою оплошность, я бережно извлёк из кармана раскисшую пачку, присел на корточки и стал по одной раскладывать на плетне влажные, побуревшие папиросы.

Был полдень. Солнце светило горячо, как в мае. Я надеялся, что папиросы скоро высохнут. Солнце светило так горячо, что я уже пожалел о том, что надел в дорогу солдатские ватные штаны и стёганку. Это был первый после зимы по-настоящему тёплый день. Хорошо было сидеть на плетне вот так, одному, целиком покоряясь тишине и одиночеству, и, сняв с головы старую солдатскую ушанку, сушить на ветерке мокрые после тяжёлой гребли волосы, бездумно следить за проплывающими в блёклой синеве белыми грудастыми облаками.

Вскоре я увидел, как из-за крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. Он вёл за руку маленького мальчика, судя по росту — лет пяти-шести, не больше. Они устало брели по направлению к переправе, но, поравнявшись с машиной, повернули ко мне. Высокий, сутуловатый мужчина, подойдя вплотную, сказал приглушённым баском:

— Здорово, браток!

— Здравствуй. — Я пожал протянутую мне большую, чёрствую руку.

Мужчина наклонился к мальчику, сказал:

— Поздоровайся с дядей, сынок. Он, видать, такой же шофёр, как и твой папанька. Только мы с тобой на грузовой ездили, а он вот эту маленькую машину гоняет.

Глядя мне прямо в глаза светлыми, как небушко, глазами, чуть-чуть улыбаясь, мальчик смело протянул мне розовую холодную ручонку. Я легонько потряс её, спросил:

---

<sup>1</sup> *Стёганка* — телогрейка, стёганая куртка.

— Что же это у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплынь, а ты замерзаешь?

С трогательной детской доверчивостью малыш прижался к моим коленям, удивлённо приподнял белёсые бровки.

— Какой же я старик, дядя? Я вовсе мальчик, и я вовсе не замерзаю, а руки холодные — снежки катал потому что.

Сняв со спины тощий вещевой мешок, устало присаживаясь рядом со мною, отец сказал:

— Беда мне с этим пассажиром. Через него и я подбился. Широко шагнёшь — он уже на рысь переходит, вот и изволь к такому пехотинцу приноравливаться. Там, где мне надо раз шагнуть, — я три раза шагаю, так и идём с ним враздробь, как конь с черепахой. А тут ведь за ним глаз да глаз нужен. Чуть отвернёшься, а он уже по лужине бредёт или леденику отломит и сосёт вместо конфеты. Нет, не мужчинское это дело с такими пассажирами путешествовать, да ещё походным порядком. — Он помолчал немного, потом спросил: — А ты что же, браток, своё начальство ждёшь?

Мне было неудобно разуверять его в том, что я не шофёр, и я ответил:

— Приходится ждать.

— С той стороны подъедут?

— Да.

— Не знаешь, скоро ли подойдёт лодка?

— Часа через два.

— Порядком. Ну что ж, пока отдохнём, спешить мне некуда. А я иду мимо, гляжу: свой брат-шофёр загорает. Дай, думаю, зайду, перекурим вместе. Одному-то и курить, и помирать тошно. А ты богато живёшь, папироски куришь. Подмочил их, стало быть? Ну, брат, табак мочёный, что конь лечёный, никуда не годится. Давай-ка лучше моего крепачка закурим.

Он достал из кармана защитных летних штанов свёрнутый в трубку малиновый шёлковый потёртый кисет, развернул его, и я успел прочитать вышитую на уголке надпись: «Дорогому бойцу от ученицы 6-го класса Лебедянской средней школы».

Мы закурили крепчайшего самосада и долго молчали. Я хотел было спросить, куда он идёт с ребёнком, какая нужда его гонит в такую распутицу, но он опередил меня вопросом:

— Ты что же, всю войну за баранкой?

- Почти всю.
- На фронте?
- Да.
- Ну, и мне там пришлось, браток, хлебнуть горяшка по ноздри и выше.

Он положил на колени большие тёмные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по себе... Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного собеседника.

Выломав из плетня сухую искривлённую хворостинку, он с минуту молча водил ею по песку, вычерчивая какие-то замысловатые фигуры, а потом заговорил:

— Иной раз не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь: «За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказила?» Нету мне ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке... Нету и не дождусь! — И вдруг спохватился: ласково подталкивая сынишку, сказал: — Пойди, милоч, поиграйся возле воды, у большой воды для ребятишек всегда какая-нибудь добыча найдётся. Только, гляди, ноги не промочи!

Ещё когда мы в молчании курили, я, украдкой рассматривая отца и сынишку, с удивлением отметил про себя одно, странное, на мой взгляд, обстоятельство. Мальчик был одет просто, но добротно: и в том, как сидела на нём подбитая лёгкой, поношенной цигейкой длиннополая курточка, и в том, что крохотные сапожки были сшиты с расчётом надевать их на шерстяной носок, и очень искусный шов на разорванном когда-то рукаве курточки — всё выдавало женскую заботу, умелые материнские руки. А отец выглядел иначе: прожжённый в нескольких местах ватник был небрежно и грубо заштопан, латка на выношенных защитных штанах не пришита как следует, а скорее наживлена широкими, мужскими стежками; на нём были почти новые солдатские ботинки, но плотные шерстяные носки изъедены молью, их не коснулась женская рука... Ещё тогда я подумал: «Или вдовец, или живёт не в ладах с женой».

Но вот он, проводив глазами сынишку, глухо покашлял, снова заговорил, и я весь превратился в слух.

— Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Так я уроженец Воронежской губернии, с тысяча девятьсотого года рождения. В граж-



*Ил. С. Трофимова*

данскую войну был в Красной Армии, в дивизии Киквидзе. В голодный двадцать второй год подался на Кубань, ишачить на кулаков, потому и уцелел. А отец с матерью и сестрёнкой дома померли от голода. Остался один. Родни — хоть шаром покати, — нигде, никого, ни одной души. Ну, через год вернулся с Кубани, хатёнку продал, поехал в Воронеж. Поначалу работал в плотницкой артели<sup>1</sup>, потом пошёл на завод, выучился на слесаря. Вскоро женился. Жена воспитывалась в детском доме. Сиротка. Хорошая попалась мне девка! Смирная весёлая, угодливая и умница, не мне чета. Она с детства узнала, почём фунт лиха стоит, может, это и сказалось на её характере. Со стороны глядеть — не так уж она была из себя видная, но ведь я-то не со стороны на неё глядел, а в упор. И не было для меня красивее и желанней её, не было на свете и не будет!

Придётся с работы усталый, а иной раз и злой, как чёрт. Нет, на грубое слово она тебе не наругбит в ответ. Ласковая, тихая, не знает, где тебя усадить, бьётся, чтобы и при малом недостатке сладкий кусок тебе сготовить. Смотришь на неё и отходишь сердцем, а спустя немного обнимешь её, скажешь: «Прости, милая Иринка, нахамил я тебе. Понимаешь, с работой у меня нынче не заладилось». И опять у нас мир, и у меня покой на душе. А ты знаешь, браток,

---

<sup>1</sup> *Артель* — добровольное объединение людей для выполнения какой-либо, часто временной, работы.

что это означает для работы? Утром я встаю как встрёпанный, иду на завод, и любая работа у меня в руках кипит и спорится! Вот что это означает — иметь умную жену-подругу.

Приходилось кое-когда после получки и выпивать с товарищами. Кое-когда бывало и так, что идёшь домой и такие кренделя ногами выписываешь, что со стороны, небось, глядеть страшно. Тесна тебе улица, да и шабаш, не говоря уже про переулки. Парень я был тогда здоровый и сильный, как дьявол, выпить мог много, а до дому всегда добирался на своих ногах. Но случалось иной раз и так, что последний перегон шёл на первой скорости, то есть на четвереньках, однако же добирался. И опять же ни тебе упрёка, ни крика, ни скандала. Только посмеивается моя Иринка, да и то осторожно, чтобы я спяну не обиделся. Разует меня и шепчет: «Ложись к стенке, Андрюша, а то сонный упадёшь с кровати». Ну, я, как куль с овсом, упаду, и всё поплывёт перед глазами. Только слышу сквозь сон, что она по голове меня тихонько гладит рукою и шепчет что-то ласковое, жалеет, значит...

Утром она меня часа за два до работы на ноги подымет, чтобы я размялся. Знает, что на похмелье я ничего есть не буду, ну, достанет огурец солёный или ещё что-нибудь по лёгости, нальёт гранёный стаканчик водки. «Похмелись, Андрюша, только больше не надо, мой милый». Да разве же можно не оправдать такого доверия? Выпью, поблагодарю её без слов, одними глазами, поцелую и пошёл на работу, как миленький. А скажи она мне, хмельному, слово поперёк, крикни или обругайся, и я бы, как бог свят, и на второй день напился. Так бывает в иных семьях; посмотрелся я, знаю.

Вскорости дети у нас пошли. Сначала сынишка родился, через год ещё две девочки... Тут я от товарищей откололся. Всю получку домой несущая, семья стала числом порядочная, не до выпивки. В выходной кружку пива выпью и на этом ставлю точку.

В двадцать девятом году завлекли меня машины. Изучил автодело, сел за баранку на грузовой. Потом втянулся и уже не захотел возвращаться на завод. За рулём показалось мне веселее. Так и прожил десять лет и не заметил, как они прошли. Прошли как будто во сне. Да что десять лет! Спроси у любого пожилого человека — приметил он, как жизнь прожил? Ни черта он не приметил! Прошлое — вот как та дальняя степь в дымке. Утром я шёл по ней,

всё было ясно кругом, а отшагал двадцать километров, и вот уже затянула степь дымка, и отсюда уже не отличишь лес от бурьяна, пашню от травокоса...

Работал я эти десять лет и день и ночь. Зарабатывал хорошо, и жили мы не хуже людей. И дети радовали: все трое учились на «отлично», а старшенький, Анатолий, оказался таким способным к математике, что про него даже в центральной газете писали. Откуда у него проявился такой огромный талант к этой науке, я и сам, браток, не знаю. Только очень мне это было лестно, и гордился я им, страсть как гордился!

За десять лет скопили мы немного деньжонок и перед войной поставили себе домишко об двух комнатах, с кладовкой и коридорчиком. Ирина купила двух коз. Чего ещё больше надо? Дети кашу едят с молоком, крыша над головою есть, одеты, обуты, стало быть, всё в порядке. Только построился я неловко. Отвели мне участок в шесть соток неподалёку от авиазавода. Будь моя хибарка в другом месте, может, и жизнь сложилась бы иначе...

А тут вот она, война. На второй день повестка из военкомата, а на третий — пожалуйста в эшелон. Провожали меня все четверо моих: Ирина, Анатолий и дочери — Настенька и Олюшка. Все ребята держались молодцом. Ну, у дочерей — не без того, посверкивали слезинки. Анатолий только плечами передёргивал, как от холода, ему к тому времени уже семнадцатый год шёл, а Ирина моя... Такой я её за все семнадцать лет нашей совместной жизни ни разу не видал. Ночью у меня на плече и на груди рубаха от её слёз не просыхала, и утром такая же история... Пришли на вокзал, а я на неё от жалости глядеть не могу: губы от слёз распухли, волосы из-под платка выбились, и глаза мутные, несмысленные, как у тронутого умом человека. Командиры объявляют посадку, а она упала мне на грудь, руки на моей шее сцепила и вся дрожит, будто подрубленное дерево... И детишки её уговаривают, и я, — ничего не помогает! Другие женщины с мужьями, с сыновьями разговаривают, а моя прижалась ко мне, как лист к ветке, и только вся дрожит, а слова вымолвить не может. Я и говорю ей: «Возьми же себя в руки, милая моя Иринка! Скажи мне хоть слово на прощанье». Она и говорит, и за каждым словом всхлипывает: «Родненький мой... Андрюша... не увидимся мы с тобой... больше... на этом... свете...»



Тут у самого от жалости к ней сердце на части разрывается, а тут она с такими словами. Должна бы понимать, что мне тоже нелегко с ними расставаться, не к тётце на блины собрался. Зло меня тут взяло! Силой я разнял её руки и легонько толкнул в плечи. Толкнул вроде легонько, а сила-то у меня была дурачья; она попятилась, шага три ступнула назад и опять ко мне идёт мелкими шажками, руки протягивает, а я кричу ей: «Да разве же так прощаются? Что ты меня раньше времени заживо хоронишь?!» Ну, опять обнял её, вижу, что она не в себе...

Он на полуслове резко оборвал рассказ, и в наступившей тишине я услышал, как у него что-то клокочет и булькает в горле. Чужое волнение передалось и мне. Искося взглянул я на рассказчика, но ни единой слезинки не увидел в его словно бы мёртвых, потухших глазах. Он сидел, понуро склонив голову, только большие, безвольно опущенные руки мелко дрожали, дрожал подбородок, дрожали твёрдые губы...

— Не надо, друг, не вспоминай! — тихо проговорил я, но он, наверное, не слышал моих слов и, каким-то огромным усилием воли поборов волнение, вдруг сказал охрипшим, странно изменившимся голосом:

— До самой смерти, до последнего моего часа, помирать буду, а не прощу себе, что тогда её оттолкнул!..

Он снова и надолго замолчал. Пытался свернуть папиросу, но газетная бумага рвалась, табак сыпался на колени. Наконец он всё же кое-как сделал кручёнку, несколько раз жадно затянулся и, покашливая, продолжал:

— Оторвался я от Ирины, взял её лицо в ладони, целую, а у неё губы как лёд. С детишками попрощался, бегу к вагону, уже на ходу вскочил на подножку. Поезд взял с места тихо-тихо; проезжать мне — мимо своих. Гляжу, детишки мои осиротелые в кучку сбились, руками мне машут, хотят улыбаться, а оно не выходит. А Ирина прижала руки к груди; губы белые, как мел, что-то она ими шепчет, смотрит на меня, не сморгнёт, а сама вся вперёд клонится, будто хочет шагнуть против сильного ветра... Такой она и в памяти мне на всю жизнь осталась: руки, прижатые к груди, белые губы и широко раскрытые глаза, полные слёз... По большей части такой я её и во сне всегда вижу... Зачем я её тогда оттолкнул? Сердце до сих пор, как вспомню, будто тупым ножом режут...

Формировали нас под Белой Церковью, на Украине. Дали мне ЗИС-5. На нём и поехал на фронт. Ну, про войну тебе нечего рассказывать, сам видал и знаешь, как оно было поначалу. От своих письма получал часто, а сам крылатки<sup>1</sup> посылал редко. Бывало, напишешь, что, мол, всё в порядке, помаленьку воюем, и хотя сейчас отступаем, но скоро соберёмся с силами и тогда дадим фрицам прикурить. А что ещё можно было писать? Тошное время было, не до писаний было. Да и признаться, и сам я не охотник был на жалобных струнах играть и терпеть не мог этаких слюнвявых, какие каждый день, к делу и не к делу, жёнам писали, сопли по бумаге размазывали. Трудно, дескать, ему, тяжело, того и гляди убьют. И вот он жалуется, сочувствия ищет, слюнвявится, а того не хочет понять, что этим разнесчастным бабёнкам и детишкам не слаже нашего в тылу приходилось. Вся держава на них оперлась! Какие же это плечи нашим женщинам и детишкам надо было иметь, чтобы под такой тяжестью не согнуться? А вот не согнулись, выстояли! А такой хлюст, мокрая душонка, напишет жалостное письмо — и трудящую женщину, как рюхой под ноги. Она после этого письма, горемыка, и руки опустит, и работа ей не в работу. Нет! На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы всё вытерпеть, всё снести, если к этому нужда позвала. А если в тебе бабьей закваски больше, чем мужской, то надевай юбку со сборками, чтобы свой тощий зад прикрыть попышнее, чтобы хоть сзади на бабу был похож, и ступай свёклу полоть или коров доить, а на фронте ты такой не нужен, там и без тебя вони много!

Только не пришлось мне и года повоевать... Два раза за это время был ранен, но оба раза по лёгости: один раз — в мякоть руки, другой — в ногу; первый раз — пулей с самолёта, другой — осколком снаряда. Дырявил немец мою машину и сверху и с боков, но мне, браток, везло на первых порах. Везло-везло, да и довезло до самой ручки... Попал я в плен под Лозовеньками в мае сорок второго года при таком неловком случае: немец тогда здорово наступал, и оказалась одна наша стодвадцатидвухмиллиметровая гаубичная батарея почти без снарядов; нагрузили мою машину снарядами по самую завязку, и сам я на погрузке работал так, что гимнастёрка к лопаткам прикипала. Надо было сильно спешить потому, что бой

---

<sup>1</sup> *Крылатка* — здесь: письмо.

приближался к нам: слева чьи-то танки гремят, справа стрельба идёт, впереди стрельба, и уже начало попахивать жареным...

Командир нашей автороты спрашивает: «Проскочишь, Соколов?» А тут и спрашивать нечего было. Там товарищи мои, может, погибают, а я тут чухаться буду? «Какой разговор! — отвечаю ему. — Я должен проскочить, и баста!» — «Ну, — говорит, — дуй! Жми на всю железку!»

Я и подул. В жизни так не ездил, как на этот раз! Знал, что не картошку везу, что с этим грузом осторожность в езде нужна, но какая же тут может быть осторожность, когда там ребята с пустыми руками воют, когда дорога вся насквозь артогнём простреливается. Пробежал километров шесть, скоро мне уже на просёлок сворачивать, чтобы пробраться к балке, где батарея стояла, а тут гляжу — мать честная — пехотка наша и справа и слева от грейдера по чистому полю сыплет, и уже мины рвутся по их порядкам. Что мне делать? Не поворачивать же назад? Давлю вовсю! И до батареи остался какой-нибудь километр, уже свернул я на просёлок, а добраться до своих мне, браток, не пришлось... Видно, из дальнобойного тяжёлый положил он мне возле машины. Не слышал я ни разрыва, ничего, только в голове будто что-то лопнуло, и больше ничего не помню. Как остался я живой тогда — не понимаю, и сколько времени пролежал метрах в восьми от кювета — не соображу. Очнулся, а встать на ноги не могу: голова у меня дёргается, всего трясёт, будто в лихорадке, в глазах темень, в левом плече что-то скрипит и похрустывает, и боль во всём теле такая, как, скажи, меня двое суток подряд били чем попадя. Долго я по земле на животе елозил, но кое-как встал. Однако опять же ничего не пойму, где я и что со мной стряслось. Память-то мне начисто отшибло. А обратно лечь боюсь. Боюсь, что лягу и больше не встану, помру. Стою и качаюсь из стороны в сторону, как тополь в бурю.

Когда пришёл в себя, опомнился и огляделся как следует, — сердце будто кто-то плоскогубцами сжал: кругом снаряды валяются, какие я вёз, неподалёку моя машина, вся в клочья побитая, лежит вверх колёсами, а бой-то, бой-то уже сзади меня идёт... Это как?

Нечего греха таить, вот тут-то у меня ноги сами собою подкосились, и я упал, как срезанный, потому что понял, что я — в плену у фашистов. Вот как оно на войне бывает...

Ох, браток, нелёгкое это дело понять, что ты не по своей воле в плену. Кто этого на своей шкуре не испытал, тому не сразу в душу въедешь, чтобы до него по-человечески дошло, что означает эта штука.

Ну вот, стало быть, лежу я и слышу: танки гремят. Четыре немецких средних танка на полном газу прошли мимо меня туда, откуда я со снарядами выехал... Каково это было переживать? Потом тягачи с пушками потянулись, полевая кухня проехала, потом пехота пошла, не густо, так, не больше одной битой роты. Погляжу, погляжу на них краем глаза и опять прижмусь щекой к земле, глаза закрою: тошно мне на них глядеть, и на сердце тошно...

Думал, все прошли, приподнял голову, а их шесть автоматчиков — вот они, шагают метрах в ста от меня. Гляжу, сворачивают с дороги и прямо ко мне. Идут молчаком. «Вот, — думаю, — и смерть моя на подходе». Я сел, неохота лёжа помирать, потом встал. Один из них, не доходя шагов нескольких, плечом дёрнул, автомат снял. И вот как потешно человек устроен: никакой паники, ни сердечной робости в эту минуту у меня не было. Только гляжу на него и думаю: «Сейчас даст он по мне короткую очередь, а куда будет бить? В голову или поперёк груди?» Как будто мне это не один чёрт, какое место он в моём теле прострочит.

Молодой парень, собою ладный такой, чернявый, а губы тонкие, в нитку, и глаза с прищуром. «Этот убьёт и не задумается», — сообщаю про себя. Так оно и есть: вскинул автомат — я ему прямо в глаза гляжу, молчу, а другой, ефрейтор, что ли, постарше его возрастом, можно сказать пожилой, что-то крикнул, отодвинул его в сторону, подошёл ко мне, лопочет по-своему и правую руку мою в локте сгибает, мускул, значит, щупает. Попробовал и говорит: «О-о-о!» — и показывает на дорогу, на заход солнца. Топай, мол, рабочая скотинка, трудиться на наш райх. Хозяином оказался!

Но чернявый присмотрелся на мои сапоги, а они у меня с виду были добрые, показывает рукой: «Сымай». Сел я на землю, снял сапоги, подаю ему. Он их из рук у меня прямо-таки выхватил. Размотал я портянки, протягиваю ему, а сам гляжу на него снизу вверх. Но он заорал, заругался по-своему и опять за автомат хватается. Остальные ржут. С тем по-мирному и отошли. Только этот чернявый, пока дошёл до дороги, раза три оглянулся на меня, глазами сверкает, как волчонок, злится, а чего? Будто я с него сапоги снял, а не он с меня.

Что ж, браток, деваться мне было некуда. Вышел я на дорогу, выругался страшным кучерявым, воронежским матом и зашагал на запад, в плен!.. А ходок тогда из меня был никудышный, в час по километру, не больше. Ты хочешь вперёд шагнуть, а тебя из стороны в сторону качает, возит по дороге, как пьяного. Прошёл немного, и догоняет меня колонна наших пленных, из той же дивизии, в какой я был. Гонят их человек десять немецких автоматчиков. Тот, какой впереди колонны шёл, поравнялся со мною и, не говоря худого слова, наотмашь хлыстнул меня ручкой автомата по голове. Упав я, — и он пришил бы меня к земле очередью, но наши подхватили меня на лету, затолкали в середину и с полчаса вели под руки. А когда я очухался, один из них шепчет: «Боже тебя упаси падать! Иди из последних сил, а не то убьют». И я из последних сил, но пошёл.

Как только солнце село, немцы усилили конвой, на грузовой подкинули ещё человек двадцать автоматчиков, погнали нас ускоренным маршем. Сильно раненные наши не могли поспевать за остальными, и их пристреливали прямо на дороге. Двое попытались бежать, а того не учли, что в лунную ночь тебя в чистом поле чёрт-те насколько видно, ну, конечно, и этих постреляли. В полночь пришли мы в какое-то полусожжённое село. Ночевать загнали нас в церковь с разбитым куполом. На каменном полу — ни клочка соломы, а все мы без шинелей, в одних гимнастёрках и штанах, так что постелить и разу нечего. Кое на ком даже и гимнастёрок не было, одни бязевые исподние рубашки. В большинстве это были младшие командиры. Гимнастёрки они посымали, чтобы их от рядовых нельзя было отличить. И ещё артиллерийская прислуга была без гимнастёрок. Как работали возле орудий растелешённые, так и в плен попали. Ночью полил такой сильный дождь, что все мы промокли насквозь. Тут купол снесло тяжёлым снарядом или бомбой с самолёта, а тут крыша вся начисто побитая осколками, сухого места даже в алтаре не найдёшь. Так всю ночь и прослонялись мы в этой церкви, как овцы в тёмном котухе. Среди ночи слышу, кто-то трогает меня за руку, спрашивает: «Товарищ, ты не ранен?» Отвечаю ему: «А тебе что надо, браток?» Он и говорит: «Я — военврач, может быть, могу тебе чем-нибудь помочь?» Я пожаловался ему, что у меня левое плечо скрипит и пухнет и ужасно как болит. Он твёрдо так говорит: «Сымай гимнастёрку и нижнюю рубашку». Я снял всё это с себя, он и начал руку в плече прощупывать своими тон-

кими пальцами, да так, что я света не взвидел. Скриплю зубами и говорю ему: «Ты, видно, ветеринар, а не людской доктор. Что же ты по больному месту давишь так, бессердечный ты человек?» А он всё щупает и злобно так отвечает: «Твоё дело помалкивать! Тоже мне, разговорчики затеял. Держись, сейчас ещё больнее будет». Да с тем как дёрнет мою руку, аж красные искры у меня из глаз посыпались.

Опомнился я и спрашиваю: «Ты что же делаешь, фашист несчастный? У меня рука вдребезги разбитая, а ты её так рванул». Слышу, он засмеялся потихоньку и говорит: «Думал, что ты меня ударишь с правой, но ты, оказывается, смиренный парень. А рука у тебя не разбита, а выбита была, вот я её на место и поставил. Ну, как теперь, полегче тебе?» И в самом деле, чувствую по себе, что боль куда-то уходит. Поблагодарил я его душевно, и он дальше пошёл в темноте, потихоньку спрашивает: «Раненые есть?» Вот что значит настоящий доктор! Он и в плену и в потёмках своё великое дело делал.

Беспокойная это была ночь. До ветру не пускали, об этом старший конвоя предупредил, ещё когда попарно загоняли нас в церковь. И, как на грех, приспичило одному богомольному из наших выйти по нужде. Крепился-крепился он, а потом заплакал. «Не могу, — говорит, — осквернять святой храм! Я же верующий, я христианин! Что мне делать, братцы?» А наши, знаешь, какой народ? Одни смеются, другие ругаются, третьи всякие шуточные советы ему дают. Развеселил он всех нас, а кончилась эта канитель очень даже плохо: начал он стучать в дверь и просить, чтобы его выпустили. Ну, и допросился: дал фашист через дверь, во всю её ширину, длинную очередь, и богомольца этого убил, и ещё трёх человек, а одного тяжело ранил, к утру он скончался.

Убитых сложили мы в одно место, присели все, притихли и призадумались: начало-то не очень весёлое... А немного погодя заговорили вполголоса, зашептались: кто откуда, какой области, как в плен попал; в темноте товарищи из одного взвода или знакомцы из одной роты порастерялись, начали один одного потихоньку окликать. И слышу я рядом с собой такой тихий разговор. Один говорит: «Если завтра, перед тем как гнать нас дальше, нас выстроят и будут выкликать комиссаров, коммунистов и евреев, то ты, взводный, не прячься! Из этого дела у тебя ничего не выйдет. Ты думаешь, если гимнастёрку снял, так за рядового сойдёшь? Не выйдет! Я за тебя отвечать не намерен. Я первый укажу на тебя! Я же знаю, что ты

коммунист и меня агитировал вступать в партию, вот и отвечай за свои дела». Это говорит ближний ко мне, какой рядом со мной сидит, слева, а с другой стороны от него чей-то молодой голос отвечает: «Я всегда подозревал, что ты, Крыжнёв, нехороший человек. Особенно, когда ты отказался вступать в партию, ссылаясь на свою неграмотность. Но никогда я не думал, что ты сможешь стать предателем. Ведь ты же окончил семилетку?» Тот лениво так отвечает своему взводному: «Ну, окончил, и что из этого?» Долго они молчали, потом, по голосу, взводный тихо так говорит: «Не выдавай меня, товарищ Крыжнёв». А тот засмеялся тихонько. «Товарищи, — говорит, — остались за линией фронта, а я тебе не товарищ, и ты меня не проси, всё равно укажу на тебя. Своя рубашка к телу ближе».

Замолчали они, а меня озноб колотит от такой подлючности. «Нет, — думаю, — не дам я тебе, сучьему сыну, выдать своего командира! Ты у меня из этой церкви не выйдешь, а вытянут тебя, как падлу, за ноги!» Чуть-чуть рассвело — вижу: рядом со мной лежит на спине мордатый парень, руки за голову закинул, а около него сидит в одной исподней рубашке, колени обнял, худенький такой, курносенький парнишка, и очень собою бледный. «Ну, — думаю, — не справится этот парнишка с таким толстым мерином. Придётся мне его кончать».

Тронул я его рукою, спрашиваю шёпотом: «Ты — взводный?» Он ничего не ответил, только головою кивнул. «Этот хочет тебя выдать?» — показываю я на лежащего парня. Он обратно головою кивнул. «Ну, — говорю, — держи ему ноги, чтобы не брыкался! Да поживей!» — а сам упал на этого парня, и замерли мои пальцы у него на глотке. Он и крикнуть не успел. Подержал его под собой минут несколько, приподнялся. Готов предатель, и язык набоку!

До того мне стало нехорошо после этого, и страшно захотелось руки помыть, будто я не человека, а какого-то гада ползучего душил... Первый раз в жизни убил, и то своего... Да какой же он свой? Он же хуже чужого, предатель. Встал и говорю взводному: «Пойдём отсюда, товарищ, церковь велика».

Как и говорил этот Крыжнёв, утром всех нас выстроили возле церкви, оцепили автоматчиками, и трое эсэсовских офицеров начали отбирать вредных им людей. Спросили, кто коммунисты, командиры, комиссары, но таковых не оказалось. Не оказалось и сволочи, какая могла бы выдать, потому что и коммунистов среди нас было

чуть не половина, и командиры были, и, само собою, и комиссары были. Только четырёх и взяли из двухсот с лишним человек. Одного еврея и трёх русских рядовых. Русские попали в беду потому, что все трое были чернявые и с кучерявинкой в волосах. Вот подходят к такому, спрашивают: «Юде?» Он говорит, что русский, но его и слушать не хотят. «Выходи» — и всё.

Расстреляли этих бедолаг, а нас погнали дальше. Взводный, с каким мы предателя придушили, до самой Познани возле меня держался и в первый день нет-нет да и пожмёт мне руку. В Познани нас разлучили по одной такой причине.

Видишь, какое дело, браток, ещё с первого дня задумал я уходить к своим. Но уходить хотел наверняка. До самой Познани, где разместили нас в настоящем лагере, ни разу не предоставился мне подходящий случай. А в Познанском лагере вроде такой случай нашёлся: в конце мая послали нас в лесок возле лагеря рыть могилы для наших же умерших военнопленных, много тогда нашего брата мёрло от дизентерии; рою я познанскую глину, а сам посматриваю кругом и вот приметил, что двое наших охранников сели закусывать, а третий придремал на солнышке. Бросил я лопату и тихо пошёл за куст... А потом — бегом, держу прямо на восход солнца...

Видать, не скоро они спохватились, мои охранники. А вот откуда у меня, у такого тощалого, силы взялись, чтобы пройти за сутки почти сорок километров, — сам не знаю. Только ничего у меня не вышло из моего мечтания: на четвёртые сутки, когда я был уже далеко от проклятого лагеря, поймали меня. Собаки сыскные шли по моему следу, они меня и нашли в некошеном овсе. На заре побоялся я идти чистым полем, а до леса было не меньше трёх километров, я залёг в овсе на днёвку. Намял в ладонях зёрен, пожевал немного и в карманы насыпал про запас и вот слышу собачий брех, и мотоцикл трещит... Оборвалось у меня сердце, потому что собаки всё ближе голоса подают. Лёг я плашмя и закрылся руками, чтобы они мне хоть лицо не обгрызли. Ну, добежали и в одну минуту спустили с меня всё моё рваньё. Остался в чём мать родила. Катали они меня по овсу, как хотели, и под конец один кобель стал мне на грудь передними лапами и целится в глотку, но пока ещё не трогает.

На двух мотоциклах подъехали немцы. Сначала сами били в полную волю, а потом натравили на меня собак, и с меня только кожа с мясом полетели клочьями. Голого, всего в крови и привезли



в лагерь. Месяц отсидел в карцере за побег, но всё-таки живой... живой я остался!..

Тяжело мне, браток, вспоминать, а ещё тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в плену. Как вспомнишь нелюдские муки, какие пришлось вынести там, в Германии, как вспомнишь всех друзей-товарищей, какие погибли, замученные там, в лагерях, — сердце уже не в груди, а в глотке бьётся, и трудно становится дышать...

Куда меня только не гоняли за два года плена! Половину Германии объехал за это время: и в Саксонии был, на силикатном заводе работал, и в Рурской области на шахте уголёк откатывал, и в Баварии на земляных работах горб наживал, и в Тюрингии побыл, и чёрт-те где только не пришлось по немецкой земле походить. Природа везде там, браток, разная, но стреляли и били нашего брата везде одинаково. А били богом проклятые гады и паразиты так, как у нас сроду животину не бьют. И кулаками били, и ногами топтали, и резиновыми палками били, и всяческим железом, какое под руку попадётся, не говоря уже про винтовочные приклады и прочее дерево.

Били за то, что ты — русский, за то, что на белый свет ещё смотришь, за то, что на них, сволочей, работаешь. Били и за то, что не так взглянешь, не так ступнёшь, не так повернёшься. Били запросто, для того чтобы когда-нибудь да убить до смерти, чтобы захлебнулся своей последней кровью и подох от побоев. Печей-то, наверное, на всех нас не хватало в Германии.

И кормили везде, как есть, одинаково: полтораста грамм эрзац-хлеба пополам с опилками и жидкая баланда<sup>1</sup> из брюквы. Кипяток — где давали, а где нет. Да что там говорить, суди сам: до войны весил я восемьдесят шесть килограмм, а к осени тянул уже не больше пятидесяти. Одна кожа осталась на костях, да и кости-то свои носить было не под силу. А работу давай, и слова не скажи, да такую работу, что ломовой лошади и то не в пору.

В начале сентября из лагеря под городом Кюстрином перебросили нас, сто сорок два человека советских военнопленных, в лагерь Б-14, неподалёку от Дрездена. К тому времени в этом лагере было около двух тысяч наших. Все работали на каменном карьере, вруч-

---

<sup>1</sup> *Балáнда* — здесь: в годы Великой Отечественной войны очень жидкая, невкусная похлёбка.

ную долбили, резали, крошили немецкий камень. Норма — четыре кубометра в день на душу, заметь, на такую душу, какая и без этого чуть-чуть, на одной ниточке, в теле держалась. Тут и началось: через два месяца от ста сорока двух человек нашего эшелона осталось нас пятьдесят семь. Это как, браток? Лихо? Тут своих не успеваешь хоронить, а тут слух по лагерю идёт, будто немцы уже Сталинград взяли и прут дальше, на Сибирь. Одно горе к другому, да так гнут, что глаз от земли не поднимаешь, вроде и ты туда, в чужую, немецкую землю, просишься. А лагерная охрана каждый день пьёт, песни горланят, радуются, ликуют.

И вот как-то вечером вернулись мы в барак с работы. Целый день дождь шёл, лохмотья на нас хоть выжми; все мы на холодном ветру продрогли как собаки, зуб на зуб не попадает. А обсушиться негде, согреться — то же самое, и к тому же голодные не то что до смерти, а даже ещё хуже. Но вечером нам еды не полагалось.

Снял я с себя мокрое рваньё, кинул на нары и говорю: «Им по четыре кубометра выработки надо, а на могилу каждому из нас и одного кубометра через глаза хватит». Только и сказал, но ведь нашёлся же из своих какой-то подлец, донёс коменданту лагеря про эти мои горькие слова.

Комендантом лагеря, или, по-ихнему, лагерфюрером, был у нас немец Мюллер. Невысокого роста, плотный, белобрысый и сам весь какой-то белый: и волосы на голове белые, и брови, и ресницы, даже глаза у него были белёсые, навывкате. По-русски говорил, как мы с тобой, да ещё на «о» налегал, будто коренной волжанин. А матершинничать был мастер ужасный. И где он, проклятый, только и учился этому ремеслу? Бывало, выстроит нас перед блоком — барак они так называли, — идёт перед строем со своей сворой эсэсовцев, правую руку держит на отлёте. Она у него в кожаной перчатке, а в перчатке свинцовая прокладка, чтобы пальцев не повредить. Идёт и бьёт каждого второго в нос, кровь пускает. Это он называл «профилактикой от гриппа». И так каждый день. Всего четыре блока в лагере было, и вот он нынче первому блоку «профилактику» устраивает, завтра второму и так далее. Аккуратный был гад, без выходных работал. Только одного он, дурак, не мог сообразить: перед тем как идти ему руки прикладывать, он, чтобы распалить себя, минут десять перед строем ругается. Он матершинничает почём зря, а нам от этого легче становится: вроде слова-то наши, природные, вроде

ветерком с родной стороны подует... Знал бы он, что его ругань нам одно удовольствие доставляет, — уж он по-русски не ругался бы, а только на своём языке. Лишь один мой приятель-москвич злился на него страшно. «Когда он ругается, — говорит, — я глаза закрою и вроде в Москве, на Зацепе, в пивной сижу, и до того мне пива захочется, что даже голова закружится».

Так вот этот самый комендант на другой день после того, как я про кубометры сказал, вызывает меня. Вечером приходят в барак переводчик и с ним два охранника. «Кто Соколов Андрей?» Я отозвался. «Марш за нами, тебя сам герр лагерфюрер требует». Понятно, зачем требует. На распыл<sup>1</sup>. Попрощался я с товарищами, все они знали, что на смерть иду, вздохнул и пошёл. Иду по лагерному двору, на звёзды поглядываю, прощаюсь и с ними, думаю: «Вот и отмучился ты, Андрей Соколов, а по-лагерному — номер триста тридцать первый». Что-то жалко стало Иринку и детишек, а потом жаль эта утихла и стал я собираться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и подобает солдату, чтобы враги не увидели в последнюю мою минуту, что мне с жизнью расставаться всё-таки трудно...

В комендантской — цветы на окнах, чистенько, как у нас в хорошем клубе. За столом — всё лагерное начальство. Пять человек сидят, шнапс глушат и салом закусывают. На столе у них початая здоровенная бутылка со шнапсом, хлеб, сало, мочёные яблоки, открытые банки с разными консервами. Мигом оглядел я всю эту жратву, и — не поверишь — так меня замутило, что за малым не вырвало. Я же голодный, как волк, отвык от человеческой пищи, а тут столько добра перед тобою... Кое-как задавил тошноту, но глаза оторвал от стола через великую силу.

Прямо передо мною сидит полупьяный Мюллер, пистолетом играет, перекидывает его из руки в руку, а сам смотрит на меня и не моргнёт, как змея. Ну, я руки по швам, стоптанными каблуками щёлкнул, громко так докладываю: «Военнопленный Андрей Соколов по вашему приказанию, герр комендант, явился». Он и спрашивает меня: «Так что же, русс Иван, четыре кубометра выработки — это много?» — «Так точно, — говорю, — герр комендант, много». — «А одного тебе на могилу хватит?» — «Так точно, герр комендант, вполне хватит и даже останется».

---

<sup>1</sup> *Распы́л* — расстрел.

Он встал и говорит: «Я окажу тебе великую честь, сейчас лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно, пойдём во двор, там ты и распишешься». — «Воля ваша», — говорю ему. Он постоял, подумал, а потом кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапса, кусочек хлеба взял, положил на него ломтик сала и всё это подаёт мне и говорит: «Перед смертью выпей, русс Иван, за победу немецкого оружия».

Я было из его рук и стакан взял, и закуску, но как только услышал эти слова, — меня будто огнём обожгло! Думаю про себя: «Чтобы я, русский солдат, да стал пить за победу немецкого оружия?! А кое-чего ты не хочешь, герр комендант? Один чёрт мне умирать, так провались ты пропадом со своей водкой!»

Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю: «Благодарствую за угощение, но я непьющий». Он улыбается: «Не хочешь пить за нашу победу? В таком случае выпей за свою гибель». А что мне было терять? «За свою гибель и избавление от мук я выпью», — говорю ему. С тем взял стакан и в два глотка вылил его в себя, а закуску не тронул, вежливенько вытер губы ладонью и говорю: «Благодарствую за угощение. Я готов, герр комендант, пойдёмте, распишете меня».

Но он смотрит внимательно так и говорит: «Ты хоть закуси перед смертью». Я ему на это отвечаю: «Я после первого стакана не закусываю». Наливает он второй, подаёт мне. Выпил я и второй и опять же закуску не трогаю, на отвагу бью, думаю: «Хоть напьюсь перед тем, как во двор идти, с жизнью расставаться». Высоко поднял комендант свои белые брови, спрашивает: «Что же не закусываешь, русс Иван? Не стесняйся!» А я ему своё: «Извините, герр комендант, я и после второго стакана не привык закусывать». Надул он щёки, фыркнул, а потом как захохочет и сквозь смех что-то быстро говорит по-немецки: видно, переводит мои слова друзьям. Те тоже рассмеялись, стульями задвигали, поворачиваются ко мне мордами и уже, замечаю, как-то иначе на меня поглядывают, вроде помягче.

Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выпил вразряжку, откусил маленький кусочек хлеба, остаток положил на стол. Захотелось мне им, проклятым, показать, что хотя я и с голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть своё, русское достоинство и гордость и что в скотину они меня не превратили, как ни старались.

После этого комендант стал серьёзный с виду, поправил у себя на груди два железных креста, вышел из-за стола безоружный и говорит: «Вот что, Соколов, ты — настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я — тоже солдат и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и целиком овладели Сталинградом. Это для нас большая радость, а потому я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок, а это тебе за смелость», — и подаёт мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала.

Прижал я хлеб к себе изо всей силы, сало в левой руке держу и до того растерялся от такого неожиданного поворота, что и спасибо не сказал, сделал налево кругом, иду к выходу, а сам думаю: «Засветит он мне сейчас промеж лопаток, и не донесу ребятам этих харчей». Нет, обошлось. И на этот раз смерть мимо меня прошла, только холодком от неё потянуло...

Вышел я из комендантской на твёрдых ногах, а во дворе меня развезло. Ввалился в барак и упал на цементованный пол без памяти. Разбудили меня наши ещё в потёмках: «Рассказывай!» Ну, я припомнил, что было в комендантской, рассказал им. «Как будем харчи делить?» — спрашивает мой сосед по нарам, а у самого голос дрожит. «Всем поровну», — говорю ему. Дождались рассвета. Хлеб и сало резали суровой ниткой. Досталось каждому хлеба по кусочку со спичечную коробку, каждую крошку брали на учёт, ну а сала, сам понимаешь, — только губы помазать. Однако поделили без обиды.

Вскорости перебросили нас, человек триста самых крепких, на осушку болот, потом — в Рурскую область на шахты. Там и пробыл я до сорок четвёртого года. К этому времени наши уже своротили Германии скулу набок и фашисты перестали пленными брезговать. Как-то выстроили нас, всю дневную смену, и какой-то приезжий оберлейтенант говорит через переводчика: «Кто служил в армии или до войны работал шофёром, — шаг вперёд». Шагнуло нас семь человек бывшей шоферни. Дали нам поношенную спецовку, направили под конвоем в город Потсдам. Приехали туда, и растрясли нас всех врозь. Меня определили работать в «Тодте» — была у немцев такая шарашкина контора по строительству дорог и оборонительных сооружений.

Возил я на «оппель-адмирале» немца инженера в чине майора армии. Ох, и толстый же был фашист! Маленький, пузатый, что в ширину, что в длину одинаковый и в заду плечистый, как справная



Ю. И. Пиминов. Фронтная дорога

баба. Спереди у него над воротником мундира три подбородка висят и позади на шее три толстючих складки. На нём, я так определял, не менее трёх пудов чистого жира было. Ходит, пыхтит, как паровоз, а жрать сядет — только держись! Целый день, бывало, жуёт да коньяк из фляжки потягивает. Кое-когда и мне от него перепало: в дороге остановится, колбасы нарежет, сыру, закусывает и выпивает; когда в добром духе, — и мне кусок кинет, как собаке. В руки никогда не давал, нет, считал это для себя за низкое. Но как бы то ни было, а с лагерем же не сравнить, и понемногу стал я запохаживаться на человека, помалу, но стал поправляться.

Недели две возил я своего майора из Потсдама в Берлин и обратно, а потом послали его в прифронтную полосу на строительство оборонительных рубежей против наших. И тут я спать окончательно разучился: ночи напролёт думал, как бы мне к своим, на родину сбежать.

Приехали мы в город Полоцк. На заре услышал я в первый раз за два года, как громыхает наша артиллерия, и знаешь, браток, как сердце забилося? Холостой ещё ходил к Ирине на свиданья, и то оно так не стучало! Бои шли восточнее Полоцка уже километрах в восемнадцати. Немцы в городе злые стали, нервные, а толстяк мой всё чаще стал напиваться. Днём за городом с ним ездим, и он распоряжается, как укрепления строить, а ночью в одиночку пьёт. Опух весь, под глазами мешки повисли...

«Ну, — думаю, — ждате больше нечего, пришёл мой час! И надо не одному мне бежать, а прихватить с собою и моего толстяка, он нашим сгодится!»

Нашёл в развалинах двухкилограммовую гирьку, обмотал её обтирочным тряпьем, на случай, если придётся ударить, чтобы крови не было, кусок телефонного провода поднял на дороге, всё, что мне надо, усердно приготовил, схоронил под переднее сиденье. За два дня перед тем как распрощался с немцами, вечером еду с заправки, вижу, идёт пьяный, как грязь, немецкий унтер, за стенку руками держится. Остановил я машину, завёл его в развалины и вытряхнул из мундира, пилотку с головы снял. Всё это имущество тоже под сиденье сунул и был таков.

Утром двадцать девятого июня приказывает мой майор везти его за город, в направлении Тросницы. Там он руководил постройкой укреплений. Выехали. Майор на заднем сиденье спокойно дремлет, а у меня сердце из груди чуть не выскакивает. Ехал я быстро, но за городом сбавил газ, потом остановил машину, вылез, огляделся: далеко сзади две грузовых тянутя. Достал я гирьку, открыл дверцу пошире. Толстяк откинулся на спинку сиденья, похрапывает, будто у жены под боком. Ну, я его тюкнул гирькой в левый висок. Он и голову уронил. Для верности я его ещё раз стукнул, но убивать до смерти не захотел. Мне его живого надо было доставить, он нашим должен был много кое-чего порассказать. Вынул я у него из кобуры «парабеллум», сунул себе в карман, монтировку вбил за спинку заднего сиденья, телефонный провод накинул на шею майору и завязал глухим узлом на монтировке. Это чтобы он не свалился на бок, не упал при быстрой езде. Скоренько напялил на себя мундир и пилотку, ну, и погнал машину напрямик туда, где земля гудит, где бой идёт.

Немецкий передний край проскакивал меж двух дзотов<sup>1</sup>. Из блиндажа автоматчики выскочили, и я нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что майор едет. Но они крик подняли, руками махают, мол, туда ехать нельзя, а я будто не понимаю, подкинул газку и пошёл на все восемьдесят. Пока они опомнились и начали бить из пулемётов по машине, а я уже на ничьей земле между воронками петляю не хуже зайца.

---

<sup>1</sup> *Дзот* — сокращение от долговременная замаскированная огневая точка; в годы войны так называлась укрепленная землянка, покрытая сверху слоем брёвен и замаскированная под местность.

Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели, из автоматов мне навстречу строчат. В четырёх местах ветровое стекло пробили, радиатор пропороли пулями... Но вот уже лесок над озером, наши бегут к машине, а я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю и целую её, и дышать мне нечем...

Молодой парнишка, на гимнастёрке у него защитные погоны, каких я ещё в глаза не видал, первым подбегает ко мне, зубы скалит: «Ага, чёртов фриц, заблудился?» Рванул я с себя немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему: «Милый ты мой губошлёп! Сынок дорогой! Какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец? В плену я был, понятно? А сейчас отвяжите этого борова, какой в машине сидит, возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру». Сдал я им пистолет и пошёл из рук в руки, а к вечеру очутился уже у полковника — командира дивизии. К этому времени меня и накормили, и в баню сводили, и допросили, и обмундирование выдали, так что явился я в блиндаж к полковнику, как и полагается, душой и телом чистый, и в полной форме. Полковник встал из-за стола, пошёл мне навстречу. При всех офицерах обнял и говорит: «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец, какой привёз от немцев. Твой майор с его портфелем нам дороже двадцати “языков”. Буду ходатайствовать перед командованием о представлении тебя к правительственной награде». А я от этих слов его, от ласки, сильно волнуюсь, губы дрожат, не повинуются, только и мог из себя выдавить: «Прошу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть». Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу: «Какой из тебя вояка, если ты на ногах еле держишься? Сегодня же отправлю тебя в госпиталь. Подлечат тебя там, подкормят, после этого домой к семье на месяц в отпуск съездишь, а когда вернёшься к нам, посмотрим, куда тебя определить».

И полковник, и все офицеры, какие у него в блиндаже были, душевно попрощались со мной за руку, и я вышел окончательно разволнованный, потому что за два года отвык от человеческого обращения. И заметь, браток, что ещё долго я, как только с начальством приходилось говорить, по привычке невольно голову в плечи втягивал, вроде боялся, что ли, как бы меня не ударили. Вот как образовали нас в фашистских лагерях...

Из госпиталя сразу же написал Ирине письмо. Описал все коротко, как был в плену, как бежал вместе с немецким майором.



И, скажи на милость, откуда эта детская похвальба у меня взялась? Не утерпел-таки, сообщил, что полковник обещал меня к награде представить...

Две недели спал и ел. Кормили помалу, но часто, иначе, если бы давали еды вволю, я бы мог загнуться, так доктор сказал. Набрался силёнок вполне. А через две недели куска в рот взять не мог. Ответа из дома нет, и я, признаться, затосковал. Еда и на ум не идёт, сон от меня бежит, всякие дурные мыслишки в голову лезут... На третьей неделе получаю письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой, столяр Иван Тимофеевич. Не дай бог никому таких писем получать!.. Сообщает он, что ещё в июне сорок второго года немцы бомбили авиазавод и одна тяжёлая бомба попала прямо в мою хатёнку. Ирина и дочери как раз были дома... Ну, пишет, что не нашли от них и следа, а на месте хатёнки — глубокая яма... Не дочитал я в этот раз письмо до конца. В глазах потемнело, сердце сжалось в комок и никак не разжимается. Прилёт я на койку, немного отлежался, дочитал. Пишет сосед, что Анатолий во время бомбёжки был в городе. Вечером вернулся в посёлок, посмотрел на яму и в ночь опять ушёл в город. Перед уходом сказал соседу, что будет проситься добровольцем на фронт. Вот и всё.

Когда сердце разлезлось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело расставалась со мною моя Ирина на вокзале. Значит, ещё тогда подсказало ей бабье сердце, что больше не увидимся мы с ней на этом свете. А я её тогда оттолкнул... Была семья, свой дом, всё это лепилось годами, и всё рухнуло в единый миг, остался я один. Думаю: «Да уж не приснилась ли мне моя нескладная жизнь?» А ведь в плену я почти каждую ночь, про себя, конечно, и с Ириной, и с детишками разговаривал, подбадривал их, дескать, я вернусь, мои родные, не горюйте обо мне, я крепкий, я выживу, и опять мы будем все вместе... Значит, я два года с мёртвыми разговаривал?!

Рассказчик на минуту умолк, а потом сказал уже иным, прерывистым и тихим голосом:

— Давай, браток, перекурим, а то меня что-то удушье давит.

Мы закурили. В залитом водой лесу звонко выстукивал дятел. Всё так же лениво шевелил сухие серёжки на ольхе тёплый ветер; всё так же, словно под тугими белыми парусами, проплывали в вышней синеве облака, но уже иным показался мне в эти минуты

скорбного молчания безбрежный мир, готовящийся к великим свершениям весны, к вечному утверждению живого в жизни.

Молчать было тяжело, и я спросил:

— Что же дальше?

— Дальше-то? — нехотя отозвался рассказчик. — Дальше получил я от полковника месячный отпуск, через неделю был в Воронеже. Пешком дотопал до места, где когда-то семейно жил. Глубокая воронка, налитая ржавой водой, кругом бурьян по пояс... Глушь, тишина кладбищенская. Ох, и тяжело же было мне, браток! Посто-ял, поскорбел душою и опять пошёл на вокзал. И часу оставаться там не мог, в этот же день уехал обратно в дивизию.

Но месяца через три и мне блеснула радость, как солнышко из-за тучи: нашёлся Анатолий. Прислал письмо мне на фронт, видать, с другого фронта. Адрес мой узнал от соседа, Ивана Тимофеевича. Оказывается, попал он поначалу в артиллерийское училище; там-то и пригодились его таланты к математике. Через год с отличием закончил училище, пошёл на фронт и вот уже пишет, что получил звание капитана, командует батареей «сорокапяток», имеет шесть орденов и медали. Словом, обштопал родителя со всех концов. И опять я возгордился им ужасно! Как ни крути, а мой родной сын — капитан и командир батареи, это не шутка! Да ещё при таких орденах. Это ничего, что отец его на «студебеккере» снаряды возит и прочее военное имущество. Отцово дело отжитое, а у него, у капитана, всё впереди.

И начались у меня по ночам стариковские мечтания: как война кончится, как я сына женю и сам при молодых жить буду, плотничать и внучат нянчить. Словом, всякая такая стариковская штука. Но и тут получилась у меня полная осечка. Зимой наступали мы без передышки, и особо часто писать друг другу нам было некогда, а к концу войны, уже возле Берлина, утром послал Анатолию письмишко, а на другой день получил ответ. И тут я понял, что подошли мы с сыном к германской столице разными путями, но находимся один от одного поблизости. Жду не дождусь, прямо-таки не чаю, когда мы с ним свидимся. Ну и свиделись... Аккурат девятого мая, утром, в День Победы, убил моего Анатолия немецкий снайпер...

Во второй половине дня вызывает меня командир роты. Гляжу, сидит у него незнакомый мне артиллерийский подполковник. Я вошёл в комнату, и он встал, как перед старшим по званию. Командир

моей роты говорит: «К тебе, Соколов», — а сам к окну отвернулся. Пронизало меня, будто электрическим током, потому что почуял я недоброе. Подполковник подошёл ко мне и тихо говорит: «Мужайся, отец! Твой сын, капитан Соколов, убит сегодня на батарее. Пойдём со мной!»

Качнулся я, но на ногах устоял. Теперь и то как сквозь сон вспоминаю, как ехал вместе с подполковником на большой машине, как пробирались по заваленным обломками улицам, туманно помню солдатский строй и обитый красным бархатом гроб. А Анатолия вижу вот как тебя, браток. Подошёл я к гробу. Мой сын лежит в нём и не мой. Мой — это всегда улыбочивый, узкоплечий мальчишка, с острым кадыком на худой шее, а тут лежит молодой, плечистый, красивый мужчина, глаза полуприкрыты, будто смотрит он куда-то мимо меня, в неизвестную мне далёкую даль. Только в уголках губ так навеки и осталась смешинка прежнего сынишки, Тольки, какого я когда-то знал... Поцеловал я его и отошёл в сторонку. Подполковник речь сказал. Товарищи-друзья моего Анатолия слёзы вытирают, а мои невыплаканные слёзы, видно, на сердце засохли. Может, поэтому оно так и болит?..

Похоронил я в чужой, немецкой земле последнюю свою радость и надежду, ударила батарея моего сына, провожая своего командира в далёкий путь, и словно что-то во мне оборвалось... Приехал я в свою часть сам не свой. Но тут вскорости меня демобилизовали. Куда идти? Неужто в Воронеж? Ни за что! Вспомнил, что в Урюпинске живёт мой дружок, демобилизованный ещё зимою по ранению, — он когда-то приглашал меня к себе, — вспомнил и поехал в Урюпинск.

Приятель мой и жена его были бездетные, жили в собственном домике на краю города. Он хотя и имел инвалидность, но работал шофёром в автороте, устроился и я туда же. Поселился у приятеля, приютили они меня. Разные грузы перебрасывали мы в районы, осенью переключились на вывозку хлеба. В это время я и познакомился с моим новым сынком, вот с этим, какой в песке играетя.

Из рейса, бывало, вернёшься в город — понятно, первым делом в чайную: перехватить чего-нибудь, ну, конечно, и сто грамм выпить с устатка<sup>1</sup>. К этому вредному делу, надо сказать, я уже пристрастился как следует... И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку, на

---

<sup>1</sup> Уста́ток (устар.) — усталость.

другой день — опять вижу. Этаким маленький оборвыш: личико всё в арбузном соку, покрытом пылью, грязный, как прах, нечёсанный, а глазёнки — как звёздочки ночью после дождя! И до того он мне полюбился, что я уже, чудное дело, начал скучать по нём, спешу из рейса поскорее его увидеть. Около чайной он и кормился — кто что даст.

На четвёртый день прямо из совхоза, гружённый хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает и, по всему видать, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему: «Эй, Ванюшка! Садись скорее на машину, прокачу на элеватор, а оттуда вернёмся сюда, пообедаем». Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так говорит: «А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут?» И глазёнки широко раскрыл, ждёт, что я ему отвечу. Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и всё знаю.

Зашёл он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой, поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и нет-нет да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц, вздохнёт. Такая мелкая птаха, а уже научилась вздыхать. Его ли это дело? Спрашиваю: «Где же твой отец, Ваня?» Шепчет: «Погиб на фронте». — «А мама?» — «Маму бомбой убило в поезде, когда мы ехали». — «А откуда вы ехали?» — «Не знаю, не помню...» — «И никого у тебя тут родных нету?» — «Никого». — «Где же ты ночуешь?» — «А где придётся».

Закипела тут во мне горячая слеза, и сразу я решил: «Не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать! Возьму его к себе в дети». И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул: «Кто?» Я ему и говорю так же тихо: «Я — твой отец».

Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, целует в щёки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно: «Папка родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдёшь! Всё равно найдёшь! Я так долго ждал, когда ты меня найдёшь!» Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, и тоже всего дрожь бьёт, и руки трясутся... Как я тогда руля не упустил, диву можно дать! Но в кювет всё же нечаянно съехал, заглушил мотор. Пока туман в глазах не прошёл, — побоялся ехать, как бы на кого не наскочить.

Постоял так минут пять, а сынок мой всё жмётся ко мне изо всех силёнок, молчит, вздрагивает. Обнял я его правой рукою, потихоньку прижал к себе, а левой развернул машину, поехал обратно, на свою квартиру. Какой уж там мне элеватор, тогда мне не до элеватора было.

Бросил машину возле ворот, нового своего сынишку взял на руки, несу в дом. А он как обвил мою шею ручонками, так и не оторвался до самого места. Прижался своей щекой к моей небритой щеке, как прилип. Так я его и внёс. Хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Вошёл я, моргаю им обоими глазами, бодро так говорю: «Вот и нашёл я своего Ванюшку! Принимайте нас, хорошие люди!» Они, оба мои бездетные, сразу сообразили, в чём дело, засуетились, забегали. А я никак сына от себя не оторву. Но кое-как уговорил. Помыл ему руки с мылом, посадил за стол. Хозяйка щей ему в тарелку налила, да как глянула, с какой он жадностью ест, так и залилась слезами. Стоит у печки, плачет себе в передник. Ванюшка мой увидал, что она плачет, подбежал к ней, дёргает её за подол и говорит: «Тётя, зачем же вы плачете? Папа нашёл меня возле чайной, тут всем радоваться надо, а вы плачете». А той — подай бог, она ещё пуще разливается, прямо-таки размокла вся!

После обеда повёл я его в парикмахерскую, постриг, а дома сам искупал в корыте, завернул в чистую простыню. Обнял он меня и так на руках моих и уснул. Осторожно положил его на кровать, поехал на элеватор, сгрузил хлеб, машину отогнал на стоянку — и бегом по магазинам. Купил ему штанишки суконные, рубашонку, сандали и картуз из мочалки. Конечно, всё это оказалось и не по росту, и качеством никуда не годное. За штанишки меня хозяйка даже разругала. «Ты, — говорит, — с ума спятил, в такую жару одевать дитя в суконные штаны!» И моментально — швейную машинку на стол, порылась в сундуке, а через час моему Ванюшке уже сатиновые трусики были готовы и беленькая рубашонка с короткими рукавами. Спать я лёг вместе с ним и в первый раз за долгое время уснул спокойно. Однако ночью раза четыре вставал. Проснусь, а он у меня под мышкой приютится, как воробей под застрехой, тихонько посапывает, и до того мне становится радостно на душе, что и словами не скажешь! Норовишь не ворохнуть, чтобы не разбудить его, но всё-таки не утерпишь, потихоньку встанешь, зажжёшь спичку и любишься на него...

Перед рассветом проснулся, не пойму, с чего мне так душно стало? А это сынок мой вылез из простыни и поперёк меня улёгся, раскинулся и ножонкой горло мне придавил. И беспокойно с ним спать, а вот привык, скучно мне без него. Ночью то погладишь его сонного, то волосёнки на вихрах понюхаешь, и сердце отходит, становится мягче, а то ведь оно у меня закаменело от горя...

Первое время он со мной на машине в рейсы ездил, потом понял я, что так не годится. Одному мне что надо? Краюшку хлеба и луковицу с солью, вот и сыт солдат на целый день. А с ним — дело другое: то молока ему надо добыть, то яичко сварить, опять же без горячего ему никак нельзя. Но дело-то не ждёт. Собрался с духом, оставил его на попечение хозяйки, так он до вечера слёзы точил, а вечером удрал на элеватор встречать меня. До поздней ночи ожидал там. Трудно мне с ним было на первых порах. Один раз легли спать ещё засветло, днём наморился я очень, и он — то всегда щебечет, как воробушек, а то что-то примолчался. Спрашиваю: «Ты о чём думаешь, сынок?» А он меня спрашивает, сам в потолок смотрит: «Папка, ты куда своё кожаное пальто дел?» В жизни у меня никогда не было кожаного пальто! Пришлось изворачиваться: «В Воронеже осталось», — говорю ему. «А почему ты меня так долго искал?» Отвечаю ему: «Я тебя, сынок, и в Германии искал, и в Польше, и всю Белоруссию прошёл и проехал, а ты в Урюпинске оказался». — «А Урюпинск — это ближе Германии? А до Польши далеко от нашего дома?» Так и болтаем с ним перед сном.

А ты думаешь, браток, про кожаное пальто он зря спросил? Нет, всё это неспроста. Значит, когда-то отец его настоящий носил такое пальто, вот ему и запомнилось. Ведь детская память, как летняя зарница: вспыхнет, накоротке осветит всё и потухнет. Так и у него память, вроде зарницы, проблесками работает.

Может, и жили бы мы с ним ещё с годик в Урюпинске, но в ноябре случился со мной грех: ехал по грязи, в одном хуторе машину мою занесло, а тут корова подвернулась, я и сбил её с ног. Ну, известное дело, бабы крик подняли, народ сбежался, и автоинспектор тут как тут. Отобрал у меня шофёрскую книжку, как я ни просил его смилостивиться. Корова поднялась, хвост задрала и пошла скакать по переулкам, а я книжки лишился. Зиму проработал плотником, а потом списался с одним приятелем, тоже сослуживцем, — он

в вашей области, в Кашарском районе, работает шофёром, — и тот пригласил меня к себе. Пишет, что, мол, поработаешь полгода по плотницкой части, а там в нашей области выдадут тебе новую книжку. Вот мы с сынком и командирujemyся в Кашары походным порядком.

Да оно, как тебе сказать, и не случись у меня этой аварии с коровой, я всё равно подался бы из Урюпинска. Тоска мне не даёт на одном месте долго засиживаться. Вот уже когда Ванюшка мой подрастёт и придётся определять его в школу, тогда, может, и я угомонюсь, осяду на одном месте. А сейчас пока шагаем с ним по русской земле.

— Тяжело ему идти, — сказал я.

— Так он вовсе мало на своих ногах идёт, всё больше на мне едет. Посажу его на плечи и несую, а захочет промяться, — слезает с меня и бежит сбоку дороги, взбрыкивает, как козлёнок. Всё это, браток, ничего бы, как-нибудь мы с ним прожили бы, да вот сердце у меня раскачалось, поршня надо менять... Иной раз так схватит и прижмёт, что белый свет в глазах меркнет. Боюсь, что когда-нибудь во сне помру и напугаю своего сынишку. А тут ещё одна беда: почти каждую ночь своих покойников дорогих во сне вижу. И всё больше так, что я — за колючей проволокой, а они на воле, по другую сторону... Разговариваю обо всём и с Ириной, и с детишками, но только хочу проволоку руками раздвинуть, — они уходят от меня, будто тают на глазах... И вот удивительное дело: днём я всегда крепко себя держу, из меня ни «оха», ни вздоха не выжмешь, а ночью проснусь, и вся подушка мокрая от слёз...

В лесу послышался голос моего товарища, плеск весла по воде.

Чужой, но ставший мне близким человек поднялся, протянул большую, твёрдую, как дерево, руку:

— Прощай, браток, счастливо тебе!

— И тебе счастливо добраться до Кашар.

— Благодарствую. Эй, сынок, пойдём к лодке.

Мальчик подбежал к отцу, пристроился справа и, держась за полу отцовского ватника, засеменял рядом с широко шагавшим мужчиной.

Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы... Что-то ждёт их

вперед? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет всё вытерпеть, всё преодолеть на своём пути, если к этому позовёт его Родина.

С тяжёлой грустью смотрел я им вслед... Может быть, всё и обошлось бы благополучно при нашем расставании, но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцыми ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой. И вдруг словно мягкая, но когтистая лапа сжала мне сердце, и я поспешно отвернулся. Нет, не только во сне плачут пожилые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное — уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное — не ранить сердце ребёнка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза...

1956



1. Перескажите кратко сюжет рассказа. Назовите композиционные элементы рассказа. Какую композицию использует автор в рассказе?
2. Найдите портрет Андрея Соколова. Какие детали подчёркивает в нём автор? Какие особенности внешности и характера героя точно переданы на иллюстрации С. Трофимова (с. 212)?
3. Назовите самые драматические эпизоды военной судьбы Андрея Соколова. Охарактеризуйте поведение героя в них.
4. Перечитайте сцену противостояния русского солдата Соколова и коменданта концлагеря Мюллера (с. 226—228). Какое значение она имеет для понимания образа Андрея Соколова? Докажите, что это нравственный поединок персонажей.
5. В каких словах выражена основная мысль военных сцен рассказа? Как создаётся впечатление достоверности описанных событий?
6. Какие испытания выпали на долю Соколова после удавшегося побега? Покажите, что сюжетно и эмоционально образ Соколова похож на лирического героя стихотворения М. В. Исаковского «Враги сожгли родную хату...».
7. Что помогло Соколову начать новую жизнь после войны? Откуда появился Ванюша? Какую роль играет образ этого мальчика в рассказе?



8. Как соотносится название рассказа «Судьба человека» и история главного героя?